

Александр Левитов

Говорящая обезьяна



Александр Иванович Левитов

Говорящая обезьяна

«В одном из глухих переулков Петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа за письменным столом сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, с строгими усами и с тою характерной эспаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес...»

Александр Иванович Левитов
Говорящая обезьяна
Эпизод из романа «Сны и
факты» [1]

*Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал.[2]
Полежаев*

В одном из глухих переулков Петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа за письменным столом сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, с строгими усами и с тою характерной эспаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес. Помимо, впрочем, эспаньолки, вся обстановка комнаты говорила, что ее обитатель – художник: около раскрытого окна виднелся угол мольберта, накрытого чем-то белым; у двери, в углу, стоял большой скелет; по стенам было прикреплено множество разнообразных гипсов и картин; даже кисея, повешенная на окнах, спускалась вниз не как обыкновенно у всех людей, перетянутая в талии классическим бантом, а какими-то живыми, мягко волновавшимися складками, напоминаяши-

ми тихое падение снега густыми и белыми хлопьями или полет белых голубей, когда они из далекого поднебесья спешат как можно скорее *колом* упасть на родимую кровлю.

По временам молодой человек вставал из-за стола и принимался ходить по комнате большими шагами, и хотя дым в его студии стоял, как это называется, коромыслом, но он, видимо, не стеснялся им, сжигая папироски самым немилосердным образом. Когда он подходил к окну, можно было видеть, что поздняя работа нисколько не утомляла его: лицо его было свежо и сосредоточенно, как у человека соображающего. И вообще описываемый случай, как слишком обыкновенный в столице, где так много разного рода бессонных тружеников, недолго бы остался в памяти наблюдателя ночных сцен, если бы его внимание не обращали на себя глаза молодого человека, которыми он то с испугом, то как бы с злостью обстреливал спящую улицу с ее гнилыми заборами, вековыми деревьями, краснокирпичными фабриками и т. д.

В этих глазах, накрытых густыми черными бровями, сверкала какая-то странная угрю-

мость, с лихорадочным и бесцельным проворством перелетавшая с одного предмета на другой. По временам молодой человек порывисто, как бы подтолкнутый кем, бросал свое письмо, поднимал голову и начинал либо пристально вслушиваться в что-то, либо внимательно вглядываться в какую-нибудь, конечно, давно уже знакомую ему вещь, находившуюся в его квартире. Он с разных точек подходил к поразившему его предмету, смотрел на него из-под ладони, как бы пораженный исходившим от него светом, смотрел в согнутый наподобие зрительной трубки кулак, подходил к нему вплоть, ощупывал руками и в конце концов принимался покачивать головою и улыбаться чему-то. В нем, очевидно, были возбуждены беспокойные, тревожащие мысли, потому что после осмотров он часто подходил к раскрытому окну, с наслаждением втягивал в себя свежий ночной воздух и иногда басовито и с улыбкой приговаривал:

– Дело – дрянь! Дрянь – дело!

По грустной иронии, которая слышалась в голосе молодого человека, можно было заключить, что ему более чем невесело. Видимо

было, что на душе у него лежит одна из тех убивающих человеческих скорбей, от которых обыкновенно человечество мятется, как береста в печке, а люди, страстно заинтересованные явлениями жизни, лишь только пройдет по ним огонь этих скорбей, сейчас же превращаются в тех апатических молодцов, которые по целым часам стоят на мостах и уныло поплевывают в воду, не без основания полагая, что им можно теперь плевать в колодезь, потому что он не для них...

– Дрянь, дрянь дело! – повторял молодой человек в минуты редкого самообладания и снова погружался в свои бесцельные созерцания, перенося угрюмый блуждающий взгляд с засеянных грачиными гнездами деревьев на многочисленные тусклые окна безлюдных фабрик, провожая задумчиво плетущегося по улице извозчика и с большим участием прислушиваясь к дребезжанию его убогого экипажа.

Вот в крепости меланхолически прозвучали часы[3], на ближнем дереве завозился сонный грач, глухо каркая, словно человек в бреду; по забору в лад глухой ночи, тихо мяукая,

неслышно проскользнула белая кошка; из близлежащих садов разливался по улице наркотический запах сирени. Эти обыкновенные явления, приобретающие, впрочем, в ночное время характер какой-то особенной, торжественной величавости, заставили вздрогнуть описываемого человека. Словно бы какое-нибудь полночное чудо, разукрашенное всеми фантастическими ужасами, появилось перед ним в это время и заставило его вскрикнуть.

– Боже мой! Да что же это такое? Неужели до такой страшной степени могут обманываться людские чувства? – спрашивал он с нескрываемым ужасом. – Ведь не болен же я, не пьян. Я не дам себя пересилить; это – вздор! Я понимаю этот вздор, рассуждаю о нем; следовательно, сойти с ума я не мог еще. Пойду дописывать письмо: это поможет мне.

Говоря это, молодой человек сел за стол, и перо его быстро забегало по тетрадке, несколько листов которой уже было исписано.

Он писал странные вещи.

«Дорогой друг! (так начиналась тетрадь). По приезде моем в Петербург со мной случи-

лось нечто необычайное, и ты напрасно радовался тому благополучию, которое, по твоим соображениям, меня ожидало здесь! Умные и энергичные провинциальные ребята вроде тебя вообще давно уже привыкли считать Петербург какою-то обетованною странюю, кипящею млеком и медом, и отсюда происходит бездна смертельных ошибок. Я в этом имел тысячи случаев убедиться еще до знакомства с тобою, о чем тысячи раз и говорил тебе, в видах предохранения твоего молодого честного лица от тех бесчисленных плевков, которыми столичные люди оплевывают надежды и стремления свежей, не испорченной еще грубой действительностью молодости.

Со стороны столичного общества очень естественно поступать таким образом с молодыми ребятами. Для него необходимо, хотя бы, положим, в видах объединения и единообразного оформления своих членов, чтобы светлая юность поскорее померкла и сделалась такою же бледною и желчною, как большинство этих столичных представителей русского богатства и, наконец, русского так называемого досужества вообще. Надобно тебе за-

метить, что в Петербурге (впрочем, это свойственно не одному только Петербургу, а всем центральным городам целого мира) нет ни одного самого несчастного шаромыги, который бы не считал себя звездой первой величины на поприще перечисленных сейчас проявлений цивилизованной жизни. Национальные, внестоличные массы думают об этом предмете согласно с центральным обрывышем – и от этого нелепого согласия происходит то, что если где-нибудь на провинциальном горизонте загорится действительная звезда и осветит непроглядную тьму своей родины, то хорошо еще этой звезде, если потехи центральных идолов над ее светом ограничатся только снисходительным подергиванием сухих и острых плеч и сквозь зубы произнесенной остротой. В большинстве случаев бывает несравненно хуже: целым рядом демонских искушений столичный город сманивает звезду с неба, на котором она светила, и устанавливает ее на своих проспектах, вместе с различными фальшфейерами[4] и мертвенно блестящими гнилушками. Бедная! Как она страдает тогда, как беспомощно то на ту, то

на другую сторону склоняется ее бледное, как бы испуганное пламя от цинготного дыхания праздных пустоголовых шалыганов, плешивых Мефистофелей, с широкими, тщательно прилизанными рожками, и вообще от всей этой деликатно-злой и стыдливо-нахальной столичной черни, которую, наперекор всякой логике и фактам, остальной люд единодушно почему-то условился называть сливками человечества, науки и искусства. А между тем за передними рядами, в которых твердо установились или буйная наглость, или улыбающееся зверство, царит действительно непроглядная тьма. Там, за первыми рядами — страшное смятение! В этой тьме, пугающей своей мертвенной синевою, прорезанной по всем направлениям свинцово-бледными нервами, примечается бесчисленное множество включенных голов, устремляющихся к свету новой звезды, виднеются белые мускулистые руки матерей, которые поднимают над морем голов своих кудрявых веселых младенцев. Матерям ничего не видно, так что сами они примечаются в крайне смутных очертаниях; но они уже счастливы тем, что их малютки,

их ангелы звонко плещут кому-то своими так художественно уродливыми ручонками и радостно смеются чему-то...»

С дороги в освещенное окно видно было, как молодой человек приподнял к свету свою тетрадь и пристально ее перечитывал. Потом он встал, походил по комнате, хлебнул как будто лекарства и, видимо, смеясь над собою, заговорил:

– Что это я ему тут прописываю? Хотел, что называется, констатировать факты, а кончил китом-рыбой. Стыдно-с! А впрочем, чего же стыдиться? Около фактов всегда плавают миллионы китов или, выражаясь газетным языком, уток... Горькую истину всегда украшают тысячи светозарных легенд... Пиллюля всегда находится в красивой коробке... И прекрасно-с! Выходит – дело. Выпью-ка я за подслащение пиллюль, хотя и без «ура», молчливо...

Тут наблюдатель ночных сцен мог окончательно видеть, что пишущий уже не хлебнул лекарства, а просто-напросто выпил водки из большого графина, ярко блеснувшего на темную улицу; после чего по ней, разукрашенной

всеми обаяниями летней ночи, пронесся хриплый кашель, говоривший как будто:

«Недолго я буду возмущать твою тишину, летняя ночь!..»

Громкий и басовитый был этот кашель, могший принадлежать только очень крепкому организму, но вместе с тем в нем слышались крайнее разрушение, досада на что-то, злость на кого-то. Так именно кашляют чахоточные люди, железное здоровье которых подкашивает эта злая болезнь.

Так и было в действительности: молодой человек страдал чахоткой. Едва раздался кашель, как дверь его комнаты тихо и чуть-чуть только приотворилась, и из нее выглянуло доброе старушечье лицо.

– Што это ты, Колюшка, поздно так? – зашептала старуха. – Сестра вон там за тебя беспокоится... кашляешь...

– Прости, мама! Не нарочно как-то... После водки... Спать что-то захотелось, вот я и выпил.

– Брось ты ее хоть ночью-то! Дай-ка я графин-то возьму.

– А я вам, маменька, в свою очередь, ска-

жу, – ласково пошутил молодой человек, – бросьте вы ее, пусть она у меня стоит. Мне веселее с нею. Да опять же ныне я чувствую себя очень хорошо: совершенно свеж и спокоен. Вот приятелю письмо дописываю.

– Ну, господь с тобой, ежели так, – закончила старуха, затворяя дверь с тою же осторожностью, с какою отворила ее.

Кудрявая голова наклонилась к столу, и перо снова забегало по бумаге.

«Признаюсь тебе, что во время моего двухлетнего пребывания в ваших лесистых трущобах я начал было скучать по Петербургу, не потому что мне было у вас худо, а просто потому, что мне думалось: там лучше теперь. И наяву и во сне ежесекундно из этой двухтысячной дали виделся мне чей-то дружественный, зовущий образ, и осязательно доносилось до меня его жаркое дыхание, которое, как будто боясь быть подслушанным враждебным ухом, тихо лепетало мне: „Приходи! иди!“

В шуме елей, сосен и лиственниц, в плеске ваших красавиц – северных рек, в жалобном крике не насмерть подстреленного зайца или

рябчика мне все слышался один и тот же шепот: „Иди! иди!“

А ночи – эти длинные зимние ночи, с ревущими метелями, заваливавшими наше жилье вровень с крышей, с завываниями голодных волков, – о, как тяжело было мне проводить их, не смыкая глаз ни на одну секунду! Бывало, смотришь в окно на ваш яркий, насмешливый месяц – до одурения дойдешь! По необозримым снежным равнинам, расстилавшимся за нашей избушкой, забегают, бывало, озолоченные месячными лучами прихотливые, сквозные фигуры, – какие фантастические пляски поднимут они! К самому небу вздымат они снежную пыль, насквозь прохваченную золотом месяца! Какое это было странное сочетание цветов – золотого и серебряного! Я никогда не мог подкараулить их в отдельности один от другого, напротив: в этом-то и состояла их невыразимая прелесть, что они как бы вливались один в другой, постоянно сменяя друг друга. Больше нигде, кроме как у вас на севере, я не встречал такой прелести!

Глухой звук соборного колокола, скованно-

го тридцатиградусным морозом, как нельзя более подходил к этим волшебным видениям. Везде была тишина и покой: целый город спал. Разметавшись на полу нашей душевной избушки, спали также и маленькие ребяташки-семинаристы, жившие с нами; кто болезненно вскрикивал, кто, напротив, торжественно распевал „Христос рождается“, готовясь к скорому отъезду на Рождество в какую-нибудь глухую деревушку, властительно охваченную мрачными объятиями непроходимого леса. Наши закопченные часишки тукали и трещали в это время вовсе не с той молодцеватостью, которая, бывало, с такою развязностью отзванивала нам без отдыху по сту часов, вынуждая нас, таким образом, в деле определения времени руководиться уже не их указаниями, а различными небесными знаками, нагаром свечей, пением петухов, ревом скотины, требующей хозяйку выйти к ней на двор и осведомиться, каков морозец на нем погуливает. Нет! По таким временам даже и часишки стучали как будто тише и сдержаннее, не нарушая своей трескотней важных очертаний ночи, складывавшихся в

моих глазах в одно живое существо, никогда не отходившее от меня с своим ласковым, магнетически влекущим призывом: „Иди! приходи!“

Хотя я во время моей жизни в вашем городе и мог бы познакомиться с большею частью губернской знати, но ты очень хорошо знаешь, что я всегда предпочитал хвойные дремучие *волока* твоей родины дубовым домам ваших чиновников с их преферансами, с их спорами, которые начинались прилично и оканчивались выпивкой и скандалами. Таким образом, целых два года я был один – с лесом, с ребятами да с тобою; но и тебе ежели я говорил и доказывал, что в Петербурге должно быть теперь лучше, зато никогда ни одним словом не пытался обрисовать ту жгучую страсть, с какою мне хотелось посмотреть на это лучшее. До того я боялся испугать твою крепкую, верившую юность характеристикой разных болезненных стремлений, неизбежных в человечестве, как прорезь зубов.

Повторяю: как ни было мне это тяжело, но я затаил в себе желание познакомить тебя с

этим миром, потому что моя страсть неминуемо охватила бы и тебя, честного и стремительного. Вместе, рука с рукой, ринулись бы мы с тобою действовать в рисовавшемся мне *лучшем* и... и молодое сердце твое разбилося бы, потому что *лучшего* не было, а у меня очутилось бы более одним гнетущим сознанием – что я, после известной опытности, принял иллюзию за правду, от чего пострадал другой человек. Трудно на белом свете найти что-нибудь мучительнее этого сознания!

Да, друг, ничего нового! Я приехал сюда к старой, как жизнь, истории. Я вновь должен прозубривать Кайдашку[5] и оплакивать погибших героев... У тебя, конечно, гораздо менее мог испариться из памяти сей уважаемый историк, который так плаксиво на каждой почти странице своего труда восклицал: „Итак, сей знаменитый герой, озаривший вселенную лучами своей славы, погиб, не успевши насладиться плодами своих побед!“

Стары, брат, стары и встрепаны темы петербургской жизни, как экземпляры Кайданова, поучающие уездное юношество, – и бог с ними! Не желая больше мозолить ими своих

глаз, говорю тебе в виде постскриптума: я умираю. Ты не подумай, что под рукой у меня для этой цели имеются в настоящую минуту какие-нибудь „Лепажа стволы роковые“ [6], – ничуть не бывало! Я просто-напросто сознал, что больше я уже не в силах вновь, как в старину говорилось, проходить Кайданова от доски до доски, из слова в слово, и потому чувствую, что червь этого сознания скоро заглохнет меня.

Стало быть, ты видишь теперь ту необычайность, которая случилась со мной в Петербурге и о которой я упоминал тебе в начале моего письма. Я, как говорится, на железном даже севере прослывший силачом, умираю, сраженный насмерть незлобивым покойником Кайдановым. Правда, он и прежде несколько раз повергал меня, но не в могилу же, а просто-напросто на грязный училищный пол, под гибкие березовые розги. Одно другого стоит, да еще, пожалуй, последнее горше первого, потому что, ежели бы не было последнего, первое-то очень и очень могло бы быть отдалено... Ну да уж верно, где наше не пропадало? Ляжем и смело примем послед-

нюю жизненную розгу, по возможности осмеявши ее насмешливый и злобный визг над человеческой беспомощностью...»

Все страннее и страннее делался молодой человек, писавший письмо. По временам он, перечитывая тетрадь, ожесточенно бросал ее на стол и насмешливо бормотал:

– Напишешь тут, черта с два, эти, как говорит русская пословица, с три короба? Где мне все написать, – уже вслух хохотал он, – говорил семнадцатилетний мальчик, едва успевший выучить половину азбуки. А в старину как легко обходились с подобными затруднениями! Наставил побольше точек – и конечно, понимай как знаешь! Я помню, как один мальчуган, товарищ по школе, начитавшись многоточий, описывал летнюю ночь в деревне следующими стихами:

*Жалко, слов-то мало,
Беден наш язык!..
Звездочка упала...
Зашумел тростник...*

Вот еще приятное воспоминание подвернулось! Мало было приятной беседы с орленком, витающим в архангельских лесах, еще

другой подвернулся – и к чему? А между тем ребята очень друг на друга похожие. Желательно, впрочем, чтобы сходства этого было между ними как можно поменьше. Тот сначала так-то ли зашумел в университете, да потом падающей звездочкой и скатился в болото какого-то уездного училища. Слышно, пьет там, как последняя каналья!

Тут молодой человек взял свечку с письменного стола и принялся осматривать многочисленные фотографии, развешанные по стенам.

– Где он у меня тут висит, этот мой милый поэт и вместе с тем страшный позитивист еще с двенадцати лет? Отзовись! – говорил молодой человек, снимая со стены какой-то портрет и освещая его в одно и то же время и дружеской, и какой-то особенно тонкой, саркастической улыбкой. – Здравствуй, брат, вечно трудившийся на других, вечно, как Филарет милостивый[7], отдававший всем все на том основании, что ведь «как же быть-то иначе? Ведь не умирать же человеку от каких-нибудь пустяков!». Не в моей бы галерее тебе, по-настоящему, висеть следовало, но ничего!

Виси в храме дружбы, если не мог повиснуть в храме славных... Ха, ха, ха! Однако чему же это я хохочу? Глупо...

Сердито сморщив густые брови, со свечой в руках, шел дальше молодой человек по своей галерее.

– Умер! – шептал он по временам, взглядываясь в какой-нибудь портрет. – И этот умер! Клянусь, это – страшная битва! Этот, по слухам, верный до гроба принятым обязанностям, сидит в каком-то захолустье, растолстел, как носорог. Говорят, стал зол, как слон весной. Злится на то, что его злят, и еще более злится на то, что как это он может злиться на кого бы то ни было. По-моему, лучше бы уж он умирал поскорее. Страшная, страшная битва! Невидимый враг, по выбору, бьет откуда-то насмерть или ранит мучительно... Где он?

Слова эти молодой человек говорил отрывисто, несвязно: порою повышая голос до нот, какими говорит всякий здоровый человек о всяком обыкновенном деле, порою понижая его до едва слышного шепота, совершенно такого же, каким рассуждают сами с собою лю-

ди, всецело объятые какой-нибудь засевшей в их мозг мыслью. При последнем вопросе он даже вздрогнул и оглянул комнату.

Так же быстро, как он оглянул ее, и комната моргнула на него всеми своими причудливыми аксессуарами, облитыми полутьмой и полусветом. Видимо было, что хозяин чем-то вдруг поразился; он задумался и с минуту стоял на одном месте, как бы соображая что-то. Потом опять зашептал, но уже энергично и злобно:

– А-а! Опять начинается! Нне-ет! я вас без холодной воды и без всяких медикаментов уложу туда, откуда вы ко мне пристаёте. Я знаю, откуда этот голос, знаю, откуда эти лица: закрою эту половину окна, оставлю часы, притворю дверь – и голоса не будет слышно. Останется только один стонущий шум в моей голове, похожий на далекую бурю, я знаю. А когда я поставлю так эту свечку, сниму с нее абажур, мольберт подвину вот так, эту картину лицом обращу к стене, скелет поставлю в переднюю (пусть он стоит там вместо лакея), тогда не будет и лиц... Вот как! А вы думали, что я так же скоро сопьюсь, как мужик в ка-

баке! Вы, милые, полагали, что я всякой чертовщине после двух полуштофов способен поверить? Ха, ха, ха!..

Весело посмеиваясь, молодой человек быстро сделал то, что хотел сделать, и продолжал прежним насмешливым тоном:

– Я вот нарочно еще выпью, чтобы доказать господину алкоголю, что он не властен в моих воспоминаниях. Сознаюсь: он может их до некоторой степени прикрасить или причернить, но итоги этих воспоминаний запрятаны у меня там, где кончается всякое царство, не только что царство господина алкоголя... Ну-ка, господин алкоголь, выходи на расправу! Не ты меня съешь, а я тебя; по крайней мере, сейчас. Вылезай, друг! – смеялся молодой человек, снимая с бокового окна графин, тщательно прикрытый зеленою шторкой. – Посмотрим, как ты помешаешь мне узнать лица, с которыми я сталкивался в моей жизни.

Снова свеча забродила по галерее все чаще и чаще, однако останавливаясь теперь перед боковым окном, прикрытым зеленою шторкой. В ней стали примечаться то какие-то по-

рывистые колебания, как бы оттого, что человек, державший ее, вдруг поскользнулся и упал, то длинные периодические дрожания, показывавшие страшную слабость рук. Несмотря на это, свеча, как казалось, исполняла свое дело с должною удовлетворительностью, потому что осмотр галереи продолжался безостановочно.

– Какие это были нежные и слабые растения! – задумчиво шептал молодой человек, указывая свечой на портреты, на стеклах которых переливались и трепетали столь же разноцветные огни, сколько разнохарактерны были покрытые этими стеклами физиономии. – Слово мороз, валило их долой с копыт первое столкновение с действительностью. На научной почве, разумеется, настолько, насколько она была возделана предшествовавшими пахарями, они держались молодцами; а как только выехали на почву серой капусты – шабаш! Сразу одурманили их забористые запахи отечественных свычаев и обычаев! «Рассказывать, так просто сказки!» Вот, например, этот человек отчего застрелился? Сначала пошло дело у него ходко: он даже и

капустную почву скоро разнюхал и сумел усесться в ней эдаким кочаном, кочаном крепким, только силу пробуй над ним, ежели бы, примерно, выдергивать его кому-нибудь понадобилось. А потом прослышал он как-то, что бывший его наставник на старости лет подличать вздумал, так он как бешеный из своего огорода – сюда прямо. Спрашиваем: «Что, друже?» А он: «Правда?» – говорит. «Правда!» – удовлетворили его. «Да как же это?» – зашептал он и по комнате закружил, словно овца полоумная. Эдак его событие возвеселило! «Как? Как же да как же? Отчего да почему?» – и приставал ко всякому наш паренек и сам разрешить старался. Пальцы даже ко лбу приставлял (сам я несколько раз видел, как он эти штуки проделывал!), голову руками обхватывал, словно бы она у него вдребезги разлететься готова была, наконец в одно время обрадовался: нашелся, извольте видеть, захотел погубившую его гнусность объяснить требованиями времени, соображениями тончайшей и благонамереннейшей дипломатии... Жаль, ненадолго обрадовался, и пуля все разрешила... Вот ты тут и смотри:

человек был твердой логики, а самого просто-го «почему» объяснить не мог... Все толковал: «Да где же люди-то после этого?» А люди около него валом валяли, и ежели бы он захотел, так каждую секунду мог бы оглохнуть от их радостных или страдающих воплей!

– Прощай, прощай, бедный! Ты действительно имеешь право спросить теперь: да где же люди-то? – если б только мог встать из своего гроба. Вокруг тебя нет ни одной могилы, приютившей товарища-человека, и пустынное, заваленное грязью пригородное поле, на котором заснули твои муки, не удостоит ни малейшим ответом твоего вопроса...

– Помешаешь ли ты мне забыть погибель этой души, господин алкоголь? – говорил молодой человек, грозя пальцем на графин, который, как бы испуганный этой угрозой, конфузливо старался спрятать за зеленую шторку свое круглое стеклянное брюшко. – Что, брат, спрятаться захотел? Напрасно! Прими-ка вот подобающую казнь за всех отравленных и загубленных тобою!

– А этот вот? Сошел с ума от первой кошачьей выходки своей молодой жены. Ему гово-

рят: «Помилуй, любезный друг, чего ты кипятишься? Да это даже грациозно, это просто-напросто – невинное женское кокетство!» – «Подите вы, говорит, к черту с этими придуманными мерзким умом словами! Какая это грация, ежели ее можно сколько угодно закупить по двугривенному за фунт? Это просто – испорченное мясо, которое думает приправить себя горчицей». Долго он в таком роде сумасшестввовал, наконец все бросил и убежал куда-то. В третьем году видели его в оренбургских степях, в киргизских кибитках.

– Господин алкоголь! – пошутил молодой человек. – Как ты думаешь, нашел ли он в тех кибитках женщину, чувствующую свое человеческое достоинство? При современном проникновении цивилизованного света к разным адаевцам и атухайцам надо полагать, что нашел – ну, и выпьем! Скверно! Человек на нашем пустом базаре мог бы очень полезным быть, а он теперь, глядишь, в каком-нибудь дружественном улусе[8] на кобзе играть учится. Любезное дело! А осудить его нельзя, потому что он, в самом деле, женщины стоил, и ничего другого для осуществления его ви-

дов ему больше не надобно было... За одно только я его браню: как человек умный, он должен был знать, что у нас покуда женщин не водится, а как человек с состоянием, он должен был поискать желаемую особу хоть, примерно, на константинопольском базаре. Туда со всех концов света баб свозят! Я ему, впрочем, тогда об этом по-дружески говорил...

Шепот, сыпавший эти насмешки, в то же время дрожал от подавляемых слез, которые наконец вылились наружу истерическими всхлипываниями.

– Прощай, прощай и ты, – каким-то рыдающим, бессвязным лепетом плакал молодой человек. – Ты хотел осилить вечные законы жизни. Ты хотел насадить сады... сады, в которых бы, ха, ха, ха! не было червей... Прометей! Ты добивался огня, который бы не жег людских жилищ... Ты рисовал своим друзьям возможность жизни без губительных ран душевных... Прощай! ты, который искренно верил в благодатное лето, которое, по твоим надеждам, скоро должно было собрать на своих цветущих лугах и львов и ягнят...

– Эге! – вдруг прекращая и свой монолог, и свои рыдания, зашутил молодой человек. – Это что же такое? Господин алкоголь начинает входить в дарованные ему законом права и преимущества! Он начинает одолевать меня, он бьет меня по моим ламентационным железам[9], и я плачу. Господин алкоголь! Уж не возвысились ли вы до назначенных вам природой пределов, что так скоро повергаете меня в скорбь и уныние?.. а? Поистине, меня очень удивило бы обстоятельство, что даже, наконец, и те пакостные места, которые производят вас, надумали выпускать вас в градусах, могущих выдерживать честную и разумную критику. Тогда, друг, я непременно сознался бы, что наше время, в своих стремлениях к гуманности и законности, в действительности одержало блестящую победу, увлекши вслед за своим стремительным полетом пропасть самой антилегальной и античеловеческой сволочи...

Все равно как с живым, наяву присутствующим собеседником, рассуждал таким образом молодой человек с «господином алкоголем», держа рюмку на отлете и пристально

всматриваясь в нее насмешливо прищуренными глазами. Долго он в каком-то раздумье ждал чего-то, словно ответа от господина алкоголя на свой насмешливый спич; но ответа не последовало, хотя и примечалось что-то очень похожее на него в пронизанной светом рюмке, когда в ней дрожала и переливалась разноцветными тенями сероватая влага.

«Смейся, друг! Смейся теперь! Скоро и на нашей улице будет праздник!» – как бы говорила рюмка, то расцветаясь светлой, торжествующей улыбкой, то покрываясь сине-багровыми злобными тенями, совершенно как человек, который путем умышленных каверз делает втихомолку приятность за приятностью своему любезному другу. Такие же *измененья милого лица*[10] виднелись и в рюмке. Было очевидно, что и молодой человек замечает эту враждебную подвижность рюмочной физиономии, потому что, смотря на нее и задумчиво покачивая головою, он шептал:

– Какая, однако, странная физиономия! Сколько раз я всматривался в нее, освещая ее на разные манеры. Всегда одно и то же выражение: сторона, обращенная к свечке, ис-

крится улыбкой кокотки, имеющей причины быть в приятном расположении духа, а сторона противоположная – чернеет и дышит также ужасающе, как на больших реках чернеют и дышат места, называемые *омутами*. Очень похоже! Я видел такие места на Оке и на Волге. Того и смотришь, что вот-вот из этой мрачной, глухо клокочущей глуби выскочит вдруг какое-нибудь толстоголовое и пучеглазое речное чудо и скажет: «А поди-ка ты, друг любезный, сюда!..»

– Так, верно, и останется неоконченной картина, которую я хотел написать на тему: совершенно опустелая комната со столом и стулом. На столе свеча, подле нее рюмка с своей роковой улыбкой; а на стуле спящий человек с бледным, пораженным ужасом лицом и с полуоткрытыми свинцовыми глазами. Он всматривается в реюющий над ним рой уродливых видений, которые меняются с рюмкой своими улыбками. Улыбки им нужно было дать такие же, как и у рюмки. Не далась картина!.. Ну и бог с ней! Теперь мне... Забыл, как это читается? Да!

Тише! о жизни покончен вопрос!

Господин алкоголь давал наконец знать себя молодому человеку. Его разговоры делались все тише и тише, периоды внезапно сокращались и притуплялись какой-нибудь икотой или вдруг приспевшей откуда-то необходимостью – поднять упавшие на крутой лоб запотелые волосы и отбросить их густые пряди на самый затылок.

– Черт! – ругался он. – Словно в театре дергает... Даже и невольные движения, рефлекс-сы-то эти – все на балетный манер... Этак ведь, подумаешь, выдрессированы!.. Чего бы, кажется, проще: жди молчаливо, когда перервется жизненная нитка, – и большинство, у которого *на челах нет следов страстей глубоких*, а есть только одни болезненно горбатые морщины на желтых лбах, поступает именно таким образом, то есть страдает в молчаливом, поистине завидном терпении. Ну а воспитанный человек этого не может! В большинстве случаев он в такие тяжелые времена на авансцену рвется, руки к сердцу прикла-

дывает и предсмертную партию Травиаты поет... Нравы-с! Одно жаль: осветить эти нравы еще должным образом покуда невозможно!

Говорил это молодой человек и пил. Пил и бормотал что-то насчет северных климатов, в которых выпивка тоже будто бы принадлежит к числу нравов, неизбежно обуславливающих жизнь, и что она физиологически присуща этим климатам; потом он старался припомнить что-то о шведах и норвежцах и об их нравах, вынуждающих этих гиперборейцев [12] сознательно отдаваться какому-то постоянно гложущему их червю, единица за единицей отсчитывать годы, в какие, по частым опытам, червь должен совсем заесть их.

– Да, брат, – уже опершись об стол и схоронивши голову в руки, словно впросонье, говорил молодой человек, видимо, побежденный господином алкоголем. – Да, бр-рат! – рассуждал он, неопределенно указывая куда-то рукою, беспомощно спускавшеюся после этого указания либо на стол, либо на колени. – Не-ет, друг, нравы не пересилишь. Они в клим-мате... Побед-дить, брат, их трудновато! Они по тебе, пожалуй... проедутся! Попадешь-

ся ежели под их веселый поезд, так они лишь свистнут да гаркнут – и только капельки крови кое-где останутся на рельсах, которые от этих капель не только не перестанут возить дальнейшие поезда, но даже и не заржавеют... Так-то! Ну и что ж из этого? А то, что жизнь – вот им! Тем, кто прирожденные гасильные способности развил в себе добрым прилежанием и пламенным рвением к делу погашения и напущения разных ядовитых туманов! Ишь! Такова наша жизненная минута, и нет ни малейшей надобности оплакивать эту минуту последней песней Травиаты, потому что... бывают минуты и другого сорта! А теперь точно: жизнь им, этим факельщикам, которые нахально позванивают вырученною за провожание трупов халтурою. Да, вот знамения нашего времени: с одной стороны скорбь и уныние, с другой – безобразная оргия под оглушающий звон балалаек. Вот эта-то оргия и завладела жизнью!

При этих словах белая, худая рука машинально приподнялась, вероятно, с целью указать ту сторону, в которой производится расправа с заполненною жизнью, и затем снова

не то чтобы упала, а тихо и безжизненно опустилась.

Упадок сил в молодом человеке, казалось, был полный. В комнате раздавалось какое-то с большим трудом понимаемое бормотанье в одно и то же время и про Видока[13], и про Иуду Искаротского, которые, по соображениям пьяного человека, деспотически царствуют теперь в наших нравах, позоря, таким образом, почву, на которой он вырос. Из рассказа, хотя и несвязного, понималось, впрочем, что речь шла о каком-то некогда любимом друге, на котором оборвалось множество самых дружеских симпатий.

– Вот этот небось не умрет! – говорил молодой человек, грузно поникнув на стол разгоряченной головой. – *Ай жиловат, собака, не изорвется!* Каждый день ему нужно показать свою каиновскую рожу, по крайней мере, в десяти комитетах, во стольких же заседаниях и у стольких же, если не больше, тех болячек, которые с лакеями высылают нищему свои старые чулки, чтобы он затянул ими свою смертельную, кроваво зияющую рану! В одном месте он «горячо заявляет», в другом «ни-

как не может удержаться, чтобы не отнестись с полным сочувствием», в третьем «благородно негодует», в четвертом «восторженно прочит блистательную будущность положительным наукам» и так далее без конца. Кроме этого, он находит еще время значительно пошептаться о чем-то с многозначительными знакомыми, которых у него целые полки... И так же магически действует этот шепот на молодых и на старых, как некогда подействовало на пьяниц ауэрбахского погребца[14] пламя, внезапно вызванное заклинаниями Мефистофеля из стола... И долго после этого шепота мнутя старцы и юноши, до тех пор мнутя, пока змея цивилизации снова не всунет в уши их жальца и снова не пошепчет им чего-то, успокоительно изгибаясь всем своим беспозвоночным хребтом.

– Интересный тип! – не то хохотал, не то плакал молодой человек, не поднимая со стола своего лица. – Ну, там, положим, такие типы понятны, там они даже нужны, ибо там каждый день предстоит надобность в добром человеке, который мог бы с должною ловкостью преподнести, кому следует, яблоко от

древа познания добра и зла, а у нас? Ха! ха! ха! Какая жалкая имитация! Это очень похоже на московских купцов, которые, как только вздуют кого-нибудь на приличный куш, сейчас же обзаводятся мамзелями из немки или *французинок* на том основании, что это у *всех уж заведение такое...* Московские легенды рассказывают, что часто будто бы такие лоботрясы по целым годам с своими *предметами* слова не скажут, а только деньжищи отваливают! Мерзкие сравнения! Но ничего! Что же делать, если не найдешь предмета, который уподобился бы «лазури ясных облаков». И эти хороши, они как раз идут к заплевываемым нравам. Ободрюсь-ка я и пойду выпью – верно, лучше-то не придумаешь.

Опираясь на столы, стулья и этажерки, словно ребенок или слепой, поплелся молодой человек по направлению к боковому окну, побряхтывая и беспомощно склонившись вниз включенную голову. Выпитая рюмка, против всяких ожиданий, произвела в нем какое-то странное оживление: прежней усталости как не бывало, по бледному лицу разлился румянец, согнувшийся было корпус вы-

прямился. Ожесточенно нашептывая что-то про каких-то предателей, он снял со стены чью-то фотографию и, рассматривая ее, говорил:

– А ведь какой славный в старину был! Сколько он этого холода и голода перенес, и все с песней, со смехом... Караул ли, бывало, слышит на улице, пожар ли завидит где-сейчас туда устремляется, как самый ретивый квартальный... Генерал-губернатору он опротивел хуже горькой редьки, и в полночь и за полночь влетая к нему с различными докладами о том, что вот-де, ваше превосходительство, в таком-то и таком-то месте сила солому ломит. Когда, бывало, придешь к нему, вечно сидит за каким-нибудь прошением или докладною запиской и злостно шепчет: «Подождите, други, я вас упеку козам рога править. Я вас проберу! Эх! – начнет лупить скороговоркой. – Не люблю я обивать парадных порогов, ну да делать нечего! Происшествие такое! Представь себе, дружище...» – залетит он, бывало, крепко вцепившись в борт приятельского сюртука, веселенькими отечественными мотивчиками, нескончаемыми, как сказ-

ки Шехере-зады. Как водолаз, бесстрашно нырял он по самым мрачным столичным глубинам, где гнездились многообразные человеческие страдания, и много оттуда вытаскивал на божий свет. И теперь еще есть люди, которые с его легкой руки живут по-человечески и поминают его юность, которая спасла их. И что с ним сделалось? Отчего он вдруг такой крутой вольт сделал? Я двадцать раз умолял его об откровенности, просто-напросто хотя бы для того только, чтобы уяснить себе в других людях подобные неожиданности. Ни слова. Ни краски на щеках, ни стыда в глазах, и только на бледном лице, приличном и безжизненном, как у нюрнбергской куклы[15], светится тонкая, едва приметная улыбка... Новая иголка так светится, валяясь на полу темной комнаты! Откуда у нас эти своеобразные Мефистофели? Какой Гёте и когда именно натворил их? Они народились в промежутке времени гораздо меньший, чем тот, какой нужен сморчкам, чтобы после дождя засыпать луг своими коричневыми и желтоватыми головками. Надобно думать, что и будущность их будет так же кратковременна, как

жизнь сморчков, на манер которых они выросли. В противном случае легионы их оставят воздушные течения, которые освежают нашу спаленную атмосферу. Легионы эти апатизируют молодую науку своей притворной апатией, которую они напускают на себя. Точно так же, как кошки притворяются мертвыми для того, чтобы удобнее схватить мышь, и они настроят науку таким образом (да уж и довольно успели в этом), что она концом, венчающим ее усилия, будет считать возможность как можно удобнее и легальнее взломаться на чужие, неученые плечи!

– А софизмы их, – стуча пальцами по столу, с пафосом объяснял кому-то молодой человек, – софизмы их, это... это что-то ужаснее кайлевских и крупновских усовершенствованных пушек[16]. Те режут раз-другой – и тысячи людей с их страданиями и счастьями ментально и безболезненно исчезают с лица земли! Их пасти зияют слишком ужасающе, чтобы они могли подманить к себе на нужную дистанцию наивное любопытство незнакомого человека. Наконец гром их гремит издали – и люди имеют время попрятаться от

него или как-нибудь иначе ослабить силу его молний. Но с трескотнёю современного фокусника ничего не поделаешь! В совершенстве знакомый с самыми мельчайшими жизненными механизмами, он дерзко спихивает с дороги честный ум, нахально становится на его место, привычным взглядом намечает людей, которые со временем могут быть опасны для его развращающей профессии, и начинает убивать их. Видит он пред собою молодость и, зная, что она любит правду, до самой ключицы заворачивает рукава своего фрака и сорочки, говоря: «господа! извольте смотреть! обмана быть никакого не может...» И молодость удовлетворяется, ибо она видит, что руки совершенно голые, и, следовательно, какие же тут могут быть фокусы?

Во время этих разговоров смертная, восковая бледность, постепенно распространяясь по лицу молодого человека, наконец совсем закрыла его; его щеки ввалились внутрь, отчего наружу каким-то лакированным, вроде картонных скелетов, рельефом выставились крутые, покрытые чахоточным румянцем скулы, лоб сделался болезненно желтым и по-

крылся глубокими синеватыми морщинами, в которых ясно виделась гневная сила, побежденная теперь совершенно, но готовая снова вспыхнуть.

– Прочту-ка я, впрочем, что я ему тут написал? – говорил молодой человек как бы в бреду, с закрытыми, как у сонного, глазами и ощупывая стол длинными худыми пальцами. – На чем тут я остановился – забыл!.. Да, да! На фокусничестве, отравляющем умы. Ну и что же? Большею частью умы эти после дурмана, который напустят в них, трепещут и кружатся в жизни, как рыба в реке, отравленной кукольваном. А фокуснику это и на руку: покамест саисский юноша в ужасе и благоговении приближается к таинственно закрытому божеству, его в это время раз десяток успеют переобуть из кожаных сапог в липовые лапотки... А впрочем, я теперь не могу писать... Я лучше попрошу мать и сестру. Теперь, кажется, пора разбудить их... Чтобы не сбиваться и не затруднять их, нужно припомнить всю эту программу! Ах! Как это голова болит! Словно сто тысяч мух жужжит и летает там. Но все это – вздор! Быть не может, чтобы я за-

был когда-нибудь сделать то, что хочу сделать... Пойду попрошу кого-нибудь сделать то, что хочу сделать... Пойду попрошу кого-нибудь дописать.

Говоря это, молодой человек встал и долго думал о чем-то. Голова его в это время была опущена вниз, а глаза, как и прежде, закрыты. Потом он твердыми, прямыми шагами направился к двери, затем покачнулся и упал на кровать, встретившуюся на дороге.казалось, что он уснул.

Долго в комнате царило молчание, прерываемое по временам жалобным жужжанием мухи, попавшейся в паутину, унылым боем крепостных часов и тихим шелестом кисейных драпировок, которые изредка вздувал свежий предутренний ветер. Свечи горели сиротливо как-то, словно бы сознавая, что они горят понапрасну; со стен озадаченно и в строгом молчании смотрели светлые фотографии и сумрачные масляные картины...

– Мама! – забредил молодой человек несвязною, горячею речью. – Ты напиши ему: сын мой упал!.. Скажи ему: брешь, мол, после него открылась – иди! Мама! Он это сра-

зу поймет. Он тебя будет любить, и сестру, и всех, как я. И ни разу он вам ни в чем не солжет, как и я вам никогда не лгал... Мама! Ложь – все! Без нее в мире все было бы вечною, хорошею жизнью! Ну, сестра, пиши же. брешь есть! А я спать хочу... А картины, какие я ему рисовал в письме, это – вздор! Напиши ему: брат писал их больной и пьяный, а то они (так прямо и пиши) на самом-то деле в миллион раз ужаснее! Ну да его не испугаешь... ха, ха, ха! Маша! Маша! Где ты? Да! Ты здесь? Напиши ему еще... Чтобы он меньше верил... Ощупью бы ходил... А то вот и надо мною теперь вьются целые тучи крылатых мерзостей – и все они, как саранча шуршит в поле своими стеклянными крыльями, шепчут мне в уши... Ах! Какие у них безобразные улыбки – и однако! какое между ними строгое, неодолимое согласие! Видишь, видишь, мама, как он кружит около меня и нахально хохочет: «Умирай! умирай! Ты хотел заколоть меня своим карандашом, а я вот все-таки скачу сколько мне угодно, а ты околеваешь...»

– Мама! Отгони от меня этого подлеца, – мечась в постели, кричал молодой человек. –

Гони, гони его! Впрочем, он врет, что мой карандаш отскочил от него! Н-не-ет, вр-ре-ет. Я его насмерть решил... Н-не-ет! У всех его лакеев моя карикатура на него в кармане всегда находится... Они его мучат своими плотно сжатыми губами, своей постоянной готовностью фыркнуть над ним во всякое время, как меня мучат своим хохотом эти нахальные, уродливые рожи... И жена его мучит в минуты злости, показывая ему клочок этой карикатуры, и знакомые, и даже дети... ха-ха-ха! Нет, врете, чтоб я бесполезно умер... Сестра! Так и пиши: брешь есть! Брат упал! Приходи и становись на его место... не страшно!..

Серое, как свинец, петербургское утро любопытно заглядывало в это время в комнату, как бы стараясь понять, о чем в ней разговаривают...

Примечания

Впервые опубликовано в журнале «Свет», 1879, № 11, с. 274—291. В настоящем издании печатается по этому тексту.

В мае 1870 года Левитов сообщал своему другу: «Теперь пишу большой роман, — написал листов семь. Остается бездна, но к зиме он кончен будет. Называться будет, кажется, „Сны и факты“, а может быть: „Затихшая буря“, — верно еще не знаю» (Нефедов, с. СХІІ).

Он собирается публиковать роман в «Вестнике Европы», но обстоятельства не дают завершить работу, и Левитов «берет первые главы, соединяет их в нечто целое» и отправляет в журнал (там же, с. СХV). В письме редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу он пишет 5 октября 1870 года: «Рекомендую Вашему вниманию прилагаемую при письме главу. Этот эпизод назван „Говорящей обезьяной“, потому что человек, выведенный в первой главе, в момент его сумасшествия, за отсутствием людей, покупает обезьяну, которая говорит ему вещи, совершенно его удовлетворяющие и потому дающие ему возможность

умереть более или менее счастливо. Очерк этот будет большой (до 6 листов), и, опасаясь, что начало его Вам не понравится, я прошу Вас в возможно скором времени уведомить меня, – угодно ли Вам будет, судя по началу, его продолжение. К 15 ноября я не дальше 1 декабря я его кончу и вышлю. Вторая глава уже почти готова» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V. СПб., 1913, с. 249).

Через неделю (13 октября) Левитов отправил еще одно письмо М. М. Стасюлевичу, в котором извиняется за несовершенство посланного отрывка и излагает план всего романа.

«Длиннота монологов 1-й главы меня глубоко озабочивала. Я хотел в ней представить человека крепкого и физически и морально, который сам сознает неизбежность своего сумасшествия и причины этой неизбежности. Я хотел было оживить длинноту этих монологов частыми входами в комнату к молодому человеку сестры и матери, – и, поступая с этою целью, я испачкал много бумаги и увидел, что я ошибся. Сестра и мать своим присутствием всегда выводили этого человека,

готового отдать душу, чтобы никого, никогда и ничем не беспокоить (это одно из оснований очерка), из его мира мыслей и воспоминаний на действительную почву – и, следовательно, сумасшествия не получалось. И вот я решил послать главу с ее длинными, характеризующими, впрочем, сумасшествие, монологами, жертвуя беллетристической формой нескольким мыслям, которые иногда показываются в монологах, к сожалению, только слишком маскированные.

Пославши главу и долго думав об ней, я пришел к убеждению, что ее монотонность оживить можно, что я и сделаю в оставшейся у меня черновой. Я впущу к молодому человеку лица, воображаемые им, и заставлю его говорить с ними, злиться на них и т. д., все равно как бы с лицами действительными.

Меня не затруднит никакая переправка, потому что я помню, как вы сказали мне однажды: не спешите.

2 глава заключается в спокойной и, так сказать, эпической характеристике свойств, с которыми он родился и воспитывался, в его раннем понимании окружавших его вещей, в

раннем противоборстве своей обстановке и в рисовке обстановки. Тот город и тот человек, к которому он писал, так и останутся в темноте, – как они сами, так и причины, заставившие молодого человека жить в северном городке и сдружиться там с кем-то. Главное в этой главе будет следующее: испуганный и измученный до последней степени и до осязательной ясности представлениями, роящимися в заболевшей пьянством (это еще один из мотивов очерка) голове, молодой человек, наконец, поступается всем, что составляло его главный жизненный интерес, и уступает своей матери, которая упрасивает его идти к дяде-генералу и просить у него службы. Она говорит ему: о чем ты беспокоишься, Николушка, – я решительно не понимаю! Что тебе за дело до людей? Ведь они для тебя ничего не сделали. Съезди ты к дяде, – он мне давно говорил об этом. Кстати и предлог для поездки есть – получишь награду за покойника-отца, выданную после его смерти. Дядя потому и не выдает ее, что ты у него не бываешь. Больной еще, молодой человек думает: в самом деле, что мне они? Есть из-за чего биться и стра-

дать так? Вообще он сдаётся, *но больной*.

Этой главы у меня написано много; но теперь я оторвусь от неё для исправления первой.

В 3-й главе он едет к генералу – и тут между ними происходит сцена, которая окончательно их рассоривает: как люди воспитанные, вслух они говорят друг другу всевозможные любезности, а внутри их, как у людей сметливых, ведётся разговор другого сорта: по жестам, по улыбкам они видят, что отношений их не примирит ничто, что все в них радикально-противоположно. Злой выходит от дяди молодой человек и на него, и на свою слабость, которая заставила его пойти к нему. Тут следуют маленькие главки, описывающие предметы, которые раздражают его все больше, это 4-я, трактир Доминика, куда он, пересиливши свою злость и притворяясь равнодушным, зашел с одним приятелем по университету, зная, что он шпион. (Я это слово как-нибудь замажу.)

5. Встреча на Невском с женщиной, которая стала негодяйкой и которой он некогда отдал все, что только мог отдать.

6. Уже по дороге домой в одном переулке, где по преимуществу живет самая рабочая бедность, он встречает мужика, который тащит золоченую киоту от иконы на грязном обрывке веревки. За ним идет мальчик – и плачет. Художник останавливает мальчика вопросом: о чем ты плачешь? Мальчик говорит: тятенька бога продал – и меня послал с мужиком на Апраксин расчет за него получить. Нам есть нечего.

Смеется этому художник и говорит: ну теперь дошло до того, что уж и бога продали – и молиться некому, – и идет с мальчиком к его отцу. Тут он спускается в самые глубокие приюты бедности, с которою, с неприметною постепенностью, и начинает оргировать. Разные типы бедности, их понимания, совершенно противоположные его пониманию, все больше и больше его раздражавшие и заставлявшие пьянствовать. Наконец в самый разгар оргии на двор приходит шарманщик, русский, шельма страшная, и у него-то художник покупает обезьяну, вообразивши, что она – именно тот человек, которого ему недоставало. Свои собственные грезы почти в бесчув-

ственном состоянии он принял за окончательное разрешение обезьяной всех своих мучительных вопросов.

Эпилог: ранним утром он уже лежал на Петергофском шоссе, в грязной канаве, разутый и раздетый, – одна рука у него еще в перчатке, как осталась от визита к дяде. Картина шоссе. Пропать народа и экипажей. Все эти шоссеиные толпы в его голове представляются чем-то стройным и необыкновенно согласным, обязанным своею стройностью и своим согласием тому другу, которого он вчера приобрел.

Почти совсем умирая, он при виде масс, увеличенных его воображением, радостно хохочет, хлопает в ладоши, кричит: браво! И громко, в бреду, поет что-то...

Многие из шоссеиной публики, остановившись, безучастно смотрят на его странности, стараясь между тем разобрать, что именно он поет; но оказывается, что песня *не на нашенском языке*.

Какой-то молодец подхватил обезьяну к себе на руки и, выждавши, когда народу посвятило, стащил с художника последний сапог...

Вот и вся история в ее программе. Извините, что я затрудняю вас ею, но мне хотелось заранее вас с ней познакомить. Надобно думать, что я сумею сделать ее настолько гладкою, что ее некоторые, слишком неприкрытые, странности никому не покажутся чересчур резкими... При некоторой опытности это достигается...» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V, с. 250—252).

Несмотря на глубокую продуманность плана и сюжетных линий, роман остался ненаписанным.

Но из сохранившихся отрывков видна не только автобиографическая основа (мотивы северной ссылки; трагедия художника, не имеющего сил воплотить свой важнейший творческий замысел, и т. д.), в них прослеживаются те «несколько мыслей», о которых Левитов упоминает в письме М. М. Стасюлевичу: размышления о буржуазной цивилизации (см. вступительную статью), о падении общественной нравственности (Видоки и Иуды «деспотически царствуют теперь в наших нравах»), о цинизме приспособленчества.

В планах мелькает повторяющийся у Леви-

това сюжет встречи с женщиной, бывшей когда-то дорогим ему человеком и оказавшейся на дне жизни.

Намечались в романе и другие близкие Левитову темы, воплощенные им в очерках о московских нищих, в рассказе «Крым» и др. – в частности «разные типы бедности, их понимания, совершенно противоположные его пониманиям».

[^^^]

Эпиграф взят из стихотворения А. И. Полежаева «Провидение».

[^^^]

3

...в крепости... прозвучали часы... – куранты
Петропавловской крепости.

[^^^]

4

Фальшфейер – фейерверк.

[^^^]

Кайдашка. – Речь идет о И. К. Кайданове (1780—1843), авторе учебников по истории, написанных в казенно-монархическом духе.

[^^^]

6

«Лепаж стволы роковые» – цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 6, строфа XXV); Лепаж – известный оружейный мастер.

[^^^]

Филарет Милостивый (702—792) – сын богатого византийского землевладельца, за необыкновенную щедрость и добродетели объявлен церковью святым.

[^^^]

8

Улус – становище кочевников, табор кибиток.

[^^^]

Ламентационные железы – железы, выделяющие слезы.

[^^^]

Измененья милого лица – искаженная цитата из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» («Ряд волшебных изменений милого лица»).

[^^^]

«Тише! о жизни покончен вопрос»... – цитата из стихотворения И. С. Никитина «Вырыта за-ступом яма глубокая».

[^^^]

Гиперборейцы – по древнегреческой мифологии, сказочный народ, живший на крайнем Севере.

[^^^]

Видок (1775—1857) – французский сыщик; имя его стало нарицательным.

[^^^]

...пьяниц ауэрбаховского погребка... – Имеется в виду эпизод из «Фауста» Гете.

[^^^]

Нюрнбергские куклы. – Город Нюрнберг (на юге Германии) был известен производством игрушек.

[^^^]

...кайлевских и крупповских... пушек. – Имеются в виду пушки, сделанные на военных заводах Кайля и Крупна в Германии.

[^^^]